



## ПАМЯТИ СРЕДНЕГО КЛАССА

**В**се упоминаемые в тексте торговые марки являются собственностью их уважаемых владельцев, и все права сохранены. Название товаров и имена политиков не указывают на реально существующие рыночные продукты и относятся только к проекциям элементов торгово-политического информационного пространства, принудительно индуцированным в качестве объектов индивидуального ума.

*Автор просит воспринимать их исключительно в этом качестве. Остальные совпадения случайны. Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.*

I'm sentimental, if you know what I mean;  
I love the country but I can't stand the scene.  
And I'm neither left or right.  
I'm just staying home tonight,  
getting lost in that hopeless little screen.

*Leonard Cohen*

Я сентиментален, если вы понимаете, что я имею в виду;  
Я люблю страну, но не переношу то, что в ней происходит.  
И я не левый и не правый.  
Просто я сижу сегодня дома,  
Пропадая в этом безнадежном экранчике (англ.).

*Леонард Коен*

## ПОКОЛЕНИЕ «П»

Когда-то в России и правда жило беспечальное Юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу — и выбрало «Пепси».

Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверно, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка. И не в кофеине, который заставляет ребятишек постоянно требовать новой дозы, с детства надежно вводя их в кокаиновый фарватер. И даже не в банальной взятке — хочется верить, что партийный бюрократ, от которого зависело заключение контракта, просто взял и полюбил эту темную пузырящуюся жидкость всеми порами своей разуверившейся в коммунизме души.

Скорей всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что истина бывает только одна. Поэтому у поколения «П» на самом деле не было никакого выбора, и дети советских семидесятых выбирали «Пепси» точно так же, как их родители выбирали Брежнева.

Как бы там ни было, эти дети, лежа летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, пили теплую пепси-колу, разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске, и мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь.

Прошло десять лет, и этот мир стал входить — сначала осторожно и с вежливой улыбкой, а потом все уверенней и смелее. Одной из его визитных карточек оказался клип, рекламирующий «Пепси-колу», — клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила «обычную колу» и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила пепси-колу. Весело ухая, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девушками, которые явно чихать хотели на женское равноправие (когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души).

Если вдуматься, уже тогда можно было понять, что дело не в пепси-коле, а в деньгах, с которыми она прямо связывалась. К этому выводу приводили, во-первых, классическая фрейдистская ассоциация, обусловленная цветом продукта; во-вторых, логическое умозаключение — поглощение пепси-колы позволяет приобретать дорогие машины. Но мы не собираемся глубоко анализировать этот клип (хотя, может быть, именно здесь нашлось бы объяснение того, почему так называемые шестидесятники упорно называют поколение «П» говнососами). Для нас важно только то, что окончательным символом поколения «П» стала обезьяна на джипе.

Немного обидно было узнать, как именно ребята из рекламных агентств на Мэдисон-авеню представ-

ляют себе свою аудиторию, так называемую target group. Но трудно было не поразиться их глубокому знанию жизни. Именно этот клип дал понять большому количеству прозябавших в России обезьян, что настала пора пересаживаться в джипы и входить к дочерям человеческим.

Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует — проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Так что «Пепси-кола» здесь совершенно ни при чем. Случившееся было частью всемирного процесса, отраженного во множестве книг (достаточно вспомнить «Ожидание обезьян» Андрея Битова или «Браззавильский пляж» Вильяма Бойда). Не обошел этот процесс и Америку, хотя там все произошло совсем иначе — «Кока-кола» полностью, окончательно и необратимо вытеснила «Пепси-колу» с красного цветового поля, что для понимающего человека равнозначно победе при Ватерлоо. Это было связано с деятельностью религиозных правых, которые очень сильны в Соединенных Штатах. Они не признают эволюции; «Кока-кола» лучше вписывается в их картину мира, потому что пьющая ее обезьяна так и остается обезьяной. Впрочем, мы слишком долго говорим об обезьянах — а собирались ведь искать человека.

Вавилен Татарский родился задолго до этой исторической победы красного над красным. Поэтому он автоматически попал в поколение «П», хотя долгое время не имел об этом никакого понятия. Если бы в те далекие годы ему сказали, что он, когда вы-

растет, станет копирайтером, он бы, наверно, выронил от изумления бутылку «Пепси-колы» прямо на горячую гальку пионерского пляжа. В те далекие дни детям положено было стремиться к сияющему шлему пожарного или белому халату врача. Даже мирное слово «дизайнер» казалось сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому лимиту, до первого серьезного обострения международной обстановки.

Но в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного. Взять хотя бы само имя «Вавилен», которым Татарского наградила отец, соединявший в своей душе веру в коммунизм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов «Василий Аксенов» и «Владимир Ильич Ленин». Отец Татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помещанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец Татарского, — таким было все советское поколение пятидесятых и шестидесятых, подарившее миру самостоятельную песню и кончившее в черную пустоту космоса первым спутником — четыреххвостым сперматозоидом так и не наставшего будущего.

Татарский очень стеснялся своего имени, представляясь по возможности Вовой. Потом он стал врать друзьям, что отец назвал его так потому, что увлекался восточной мистикой и имел в виду древний город Вавилон, тайную доктрину которого ему, Вави-

лену, предстоит унаследовать. А сплав Аксенова с Лениным отец создал потому, что был последователем манихейства и натурфилософии и считал себя обязанным уравновесить светлое начало темным. Несмотря на эту блестящую разработку, в возрасте восемнадцати лет Татарский с удовольствием потерял свой первый паспорт, а второй получил уже на Владимира.

После этого его жизнь складывалась самым обычным образом. Он поступил в технический институт — не потому, понятное дело, что любил технику (его специальностью были какие-то электроплавильные печи), а потому что не хотел идти в армию. Но в двадцать один год с ним случилось нечто, решившее его дальнейшую судьбу.

Летом, в деревне, он прочитал маленький томик Бориса Пастернака. Стихи, к которым он раньше не питал никакой склонности, до такой степени потрясли его, что несколько недель он не мог думать ни о чем другом, а потом начал писать их сам. Он навсегда запомнил ржавый каркас автобуса, косо вросший в землю на опушке подмосковного леса. Возле этого каркаса ему в голову пришла первая в жизни строка — «Сардины облаков плывут на юг» (впоследствии он стал находить, что от этого стихотворения пахнет рыбой). Словом, случай был совершенно типичным и типично закончился — Татарский поступил в Литературный институт. Правда, на отделение поэзии он не прошел — пришлось довольствоваться переводами с языков народов СССР. Татарский представлял себе свое будущее примерно так: днем — пустая аудитория в Литинституте, подстроч-

ник с узбекского или киргизского, который нужно зарифмовать к очередной дате, а по вечерам — труды для вечности.

Потом незаметно произошло одно существенное для его будущего событие. СССР, который начали обновлять и улучшать примерно тогда же, когда Татарский решил сменить профессию, улучшился настолько, что перестал существовать (если государство способно попасть в нирвану, это был как раз такой случай). Поэтому ни о каких переводах с языков народов СССР больше не могло быть и речи. Это был удар, но его Татарский перенес. Оставалась работа для вечности, и этого было довольно.

И тут случилось непредвиденное. С вечностью, которой Татарский решил посвятить свои труды и дни, тоже стало что-то происходить. Этого Татарский не мог понять совершенно. Ведь вечность — так, во всяком случае, он всегда думал — была чем-то неизменным, неразрушимым и никак не зависящим от скоротечных земных раскладов. Если, например, маленький томик Пастернака, который изменил его жизнь, уже попал в эту вечность, то не было никакой силы, способной его оттуда выкинуть.

Оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что вечность существовала только до тех пор, пока Татарский искренне в нее верил, и нигде за пределами этой веры ее, в сущности, не было. Для того чтобы искренне верить в вечность, надо было, чтобы эту веру разделяли другие, — потому что вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией. А с другими — в том числе и теми, кто учил Татарского дер-



жать равнение на вечность, — начало твориться что-то странное.

Не то чтобы они изменили свои прежние взгляды, нет. Само пространство, куда были направлены эти прежние взгляды (взгляд ведь всегда куда-то направлен), стало сворачиваться и исчезать, пока от него не осталось только микроскопическое пятнышко на ветровом стекле ума. Вокруг замелькали совсем другие ландшафты.

Татарский пробовал бороться, делая вид, что ничего на самом деле не происходит. Сначала это получалось. Тесно общаясь с другими людьми, которые тоже делали вид, что ничего не происходит, можно было на некоторое время в это поверить. Конец наступил неожиданно.

Однажды во время прогулки Татарский остановился у закрытого на обед обувного магазина. За его витриной оплывала в летнем зное толстая миловидная продавщица, которую Татарский почему-то сразу назвал про себя Манькой, а среди развала разноцветных турецких подделок стояла пара обуви несомненно отечественного производства.

Татарский испытал чувство мгновенного и пронзительного узнавания. Это были остроносые ботинки на высоких каблуках, сделанные из хорошей кожи. Желто-рыжего цвета, простроченные голубой ниткой и украшенные большими золотыми пряжками в виде арф, они не были просто безвкусными или пошлыми. Они явственно воплощали в себе то, что один пьяненький преподаватель советской литературы из Литинститута называл «наш гештальт», и это было так жалко, смешно и трогательно (особенно пряж-

ки-арфы), что у Татарского на глаза навернулись слезы. На ботинках лежал густой слой пыли — они были явно не востребованы эпохой.

Татарский знал, что тоже не востребован эпохой, но успел сжиться с этим знанием и даже находил в нем какую-то горькую сладость. Оно расшифровывалось для него словами Марины Цветаевой: «Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто не брал и не берет!), Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед». Если в этом чувстве и было что-то унижительное, то не для него — скорее для окружающего мира. Но, замерев перед витриной, он вдруг понял, что пылится под этим небом не как сосуд с драгоценным вином, а именно как ботинки с пряжками-арфами. Кроме того, он понял еще одно: вечность, в которую он раньше верил, могла существовать только на государственных дотациях — или, что то же самое, как нечто запрещенное государством. Больше того, существовать она могла только в качестве полусознанного воспоминания какой-нибудь Маньки из обувного. А ей, точно так же, как ему самому, эту сомнительную вечность просто вставляли в голову в одном контейнере с природоведением и неорганической химией. Вечность была произвольной — если бы, скажем, не Сталин убил Троцкого, а наоборот, ее населяли бы совсем другие лица. Но даже это было неважно, потому что Татарский ясно понимал: при любом раскладе Маньке просто не до вечности, и, когда она окончательно перестанет в нее верить, никакой вечности больше не будет, потому что где ей тогда быть? Или, как он написал в свою книжечку, придя домой:

«Когда исчезает субъект вечности, то исчезают и все ее объекты, — а единственным субъектом вечности является тот, кто хоть изредка про нее вспоминает».

Больше он не писал стихов: с гибелью советской власти они потеряли смысл и ценность. Последние строки, созданные им сразу после этого события, были навеяны песней группы «ДДТ» («Что такое осень — это листья...») и аллюзиями из позднего Достоевского. Кончалось стихотворение так:

Что такое вечность — это банька,  
Вечность — это банька с пауками.  
Если эту баньку  
Позабудет Манька,  
Что же будет с Родиной и с нами?

## **ДРАФТ ПОДИУМ**

Как только вечность исчезла, Татарский оказался в настоящем. Выяснилось, что он совершенно ничего не знает про мир, который успел возникнуть вокруг за несколько последних лет.

Этот мир был очень странным. Внешне он изменился мало — разве что на улицах стало больше нищих, а всё вокруг — дома, деревья, скамейки на улицах — вдруг как-то сразу постарело и опустилось. Сказать, что мир стал иным по своей сущности, тоже было нельзя, потому что никакой сущности у него теперь не было. Во всем царила страшноватая неопределенность. Несмотря на это, по улицам неслись потоки «мерседесов» и «тойот», в которых сидели абсолютно уверенные в себе и происходящем крепыши,

и даже была, если верить газетам, какая-то внешняя политика.

По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее. Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы СС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии. Татарский, конечно, ненавидел советскую власть в большинстве ее проявлений, но все же ему было непонятно — стоило ли менять империю зла на банановую республику зла, которая импортирует бананы из Финляндии.

Впрочем, Татарский никогда не был большим моралистом, поэтому его занимала не столько оценка происходящего, сколько проблема выживания. Никаких связей, которые могли бы ему помочь, у него не было, поэтому он подошел к делу самым простым образом — устроился продавцом в коммерческий ларек недалеко от дома.

Работа была простой, но нервной. В ларьке было полутемно и прохладно, как в танке; с миром его соединяло крохотное окошко, сквозь которое еле можно было просунуть бутылку шампанского. От возможных неприятностей Татарского защищала решетка из толстых прутьев, грубо приваренная к стенам. По

вечерам он сдавал выручку пожилому чечену с тяжелым золотым перстнем; иногда даже удавалось выкроить кое-что поверх зарплаты. Время от времени к ларьку подходили начинающие бандиты и ломяющимися голосами требовали денег за свою крышу. Татарский устало отсылал их к Гусейну. Гусейн был худеньким невысоким парнем с постоянно маслянистыми от опиатов глазами; обычно он лежал на матрасе в полупустом вагончике, которым кончалась шеренга ларьков, и слушал суфийскую музыку. Кроме матраса, в вагончике были стол и несгораемый шкаф, в котором лежало много денег и стояла замысловатая модель автомата Калашникова с подствольным гранатометом.

Работая в ларьке (продолжалось это чуть меньше года), Татарский приобрел два новых качества. Первым был цинизм, бескрайний, как вид с Останкинской телебашни. Второе качество было удивительным и труднообъяснимым. Татарскому достаточно было коротко глянуть на руки клиента, чтобы понять, можно ли его обсчитать и на сколько именно, можно ли ему нахамить или нет, вероятно ли возможность получить фальшивую банкноту и можно ли самому сунуть такую банкноту вместе со сдачей. Здесь не существовало никакой четкой системы. Иногда в окошке появлялся кулак, похожий на волосатую дыню, но было ясно, что его обладателя можно смело посылать во все шесть направлений. А иногда сердце Татарского тревожно замирало при виде узкой женской ладони с наманикюренными ногтями.

Однажды у Татарского спросили пачку «Давидофф». Рука, положившая смятую стотысячную ку-

пюру на прилавок, была малоинтересной. Татарский отметил тонкую, еле заметную дрожь пальцев, посмотрел на аккуратно опиленные ногти и понял, что клиент злоупотребляет стимуляторами. Это вполне мог быть, например, бандит средней руки или бизнесмен — или, как чаще всего бывало, нечто среднее.

— Какой «Давидофф»? Простой или облегченный? — спросил Татарский.

— Облегченный, — ответил клиент, наклонился и заглянул в окошко.

Татарский вздрогнул — перед ним стоял его однокурсник по Литинституту Сергей Морковин. Когда-то он был одной из самых ярких личностей на курсе и сильно косил под Маяковского — носил желтый свитер и писал эпатажные стихи («Мой стих, членораздельный, как топор...» или «О, Лица Крика! О, Мата Хари!»). Он почти не изменился, только в волосах появился аккуратный пробор, а в проборе — несколько седых волос.

— Вова? — спросил Морковин удивленно. — Что ты тут делаешь?

Татарский не нашелся, что ответить.

— Понятно, — сказал Морковин. — А ну-ка пойдем отсюда к черту.

После недолгих уговоров Татарский закрыл палатку на ключ и, боязливо косясь на вагончик Гусейна, пошел вслед за Морковиным к его машине. Они поехали в дорогой китайский ресторан «Храм Луны», поужинали, сильно выпили, и Морковин рассказал, чем он в последнее время занимался. А занимался он рекламой.

— Вова, — говорил он, хватая Татарского за ру-

ку и сверкая глазами, — сейчас особое время. Такого никогда раньше не было и никогда потом не будет. Лихорадка, как на Клондайке. Через два года все уже будет схвачено. А сейчас есть реальная возможность вписаться в эту систему, придя прямо с улицы. Ты чего, в Нью-Йорке полжизни кладут, чтобы только с правильными людьми встретиться за обедом, а у нас...

Многого из того, что говорил Морковин, Татарский просто не понимал. Единственное, что он четко уяснил из разговора, — это схему функционирования бизнеса эпохи первоначального накопления и его взаимоотношения с рекламой.

— В целом, — говорил Морковин, — происходит это примерно так. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип «Чероки» и восемь ящиков «Смирновской». Когда «Смирновская» кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит — в три раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип «Гранд Чероки» и шестнадцать ящиков «Абсолюта». Когда «Абсолют»...

— Я понял, — перебил Татарский. — А что в конце?

— Два варианта. Если банк, которому человек должен, бандитский, то его в какой-то момент убивают. Поскольку других банков у нас нет, так обычно и происходит. Если человек, наоборот, сам бандит, то последний кредит перекидывается на Государственный банк, а человек объявляет себя банкротом. К нему в офис приходят судебные исполнители, описывают пустые бутылки и заблеванный факс, а он через

некоторое время начинает все сначала. Правда, у Госбанка сейчас появились свои бандиты, так что ситуация чуть сложнее, но в целом картина не изменилась.

— Ага, — задумчиво сказал Татарский. — Но я не понял, какое отношение все это имеет к рекламе.

— Вот здесь и начинается самое главное. Когда примерно половина «Смирновской» или «Абсолюта» еще не выпита, джип еще ездит, а смерть кажется далекой и абстрактной, в голове у человека, который всё это заварил, происходит своеобразная химическая реакция. В нем просыпается чувство безграничного величия, и он заказывает себе рекламный клип. Причем он требует, чтобы этот клип был круче, чем у других идиотов. По деньгам на это уходит примерно треть каждого кредита. Психологически все понятно. Открыл человек какое-нибудь малое предприятие «Эверест», и так ему хочется увидеть свой логотипчик по первому каналу, где-нибудь между «БМВ» и «Кока-колой», что хоть в петлю. Так вот, в момент, когда в голове у клиента происходит эта реакция, из кустов появляемся мы.

Татарскому было очень приятно услышать это «мы».

— Ситуация выглядит так, — продолжал Морковин. — Есть несколько студий, которые делают ролики. Им позарез нужны толковые сценаристы, потому что от сценариста сейчас зависит все. Работа заключается в следующем — люди со студии находят клиента, который хочет показать себя по телевизору. Ты на него смотришь. Он что-то говорит. Ты его слушаешь. Потом ты пишешь сценарий. Он обычно размером в страницу, потому что клипы корот-



кие. Это может занять у тебя две минуты, но ты приходишь к нему не раньше чем через неделю, — он должен считать, что все это время ты бегал по комнате, держась руками за голову, и думал, думал, думал. Он читает то, что ты написал, и в зависимости от того, нравится ему сценарий или нет, заказывает ролик твоим людям или обращается к другим. Поэтому для студии, с которой ты работаешь, ты самый важный персонаж. От тебя зависит заказ. И если тебе удастся загипнотизировать клиента, ты берешь десять процентов от общей стоимости ролика.

— А сколько стоит ролик?

— Обычно от пятнадцати до тридцати. В среднем считаем, что двадцать.

— Чего? — недоверчиво спросил Татарский.

— Господи, ну не рублей же. Тысяч долларов.

Татарский за долю секунды сосчитал, сколько будет десять процентов от двадцати тысяч, сглотнул и по-собачьи посмотрел на Морковина.

— Это, конечно, ненадолго, — сказал Морковин. — Пройдет год или два, и все будет выглядеть иначе. Вместо всякой пузатой мелочи, которая кредитруется по пустякам, люди будут брать миллионы баксов. Вместо джипов, которые бьют о фонари, будут замки во Франции и острова в Тихом океане. Вместо вольных стрелков будут серьезные конторы. Но суть происходящего в этой стране всегда будет той же самой. Поэтому и принцип нашей работы не изменится никогда.

— Господи, — сказал Татарский, — такие деньги... Как-то даже боязно.

— Вечный вопрос, — засмеялся Морковин. — Тварь ли я дрожащая или право имею?

— Ты, похоже, на него ответил.

— Да, — сказал Морковин, — было дело.

— И как же?

— А очень просто. Тварь дрожащая, у которой есть неотъемлемые права. И лэвэ тоже. Кстати, может, тебе одолжить, а? У тебя вид какой-то запущенный. Отдашь, когда раскрутишься.

— Спасибо, у меня пока есть, — сказал Татарский. — А ты не знаешь случайно, откуда это слово взялось — «лэвэ»? Мои чечены говорят, что его и на Аравийском полуострове понимают. Даже в английском что-то похожее есть...

— Случайно знаю, — ответил Морковин. — Это от латинских букв «L» и «V». Аббревиатура *liberal values*<sup>1</sup>.

На следующий день Морковин отвел Татарского в довольно странное место. Оно называлось «Драфт Подиум» (после нескольких минут напряженной умственной работы Татарский оставил попытки понять, что это означает). Помещался «Драфт Подиум» в подвале старого кирпичного дома недалеко от центра. Туда вела тяжелая стальная дверь, за которой оказалось небольшое помещение, плотно заставленное техникой. Там Татарского ждало несколько молодых людей. Главным был небритый парень по имени Сергей, похожий на Дракулу в юности. Он

---

<sup>1</sup> Либеральные ценности (*англ.*).

объяснил Татарскому, что небольшой кубический ящик из синей пластмассы, стоящий на пустой картонной коробке, — это компьютер «Силикон Графикс», который стоит черт знает сколько, а программа «Софт Имаж», которая на нем установлена, стоит в два раза больше. «Силикон» был главным сокровищем этой подземной пещеры. Еще в комнате было несколько компьютеров попроще, сканеры и какой-то сложный видеомагнитофон со множеством индикаторов. На Татарского большое впечатление произвела одна деталь — на видеомагнитофоне было круглое колесико с ручкой, вроде тех, что бывают на швейных машинках, и с его помощью можно было вручную прокручивать кадры.

На примете у «Драфт Подиума» был один очень перспективный клиент.

— Объекту примерно пятьдесят лет, — затягиваясь ментоловой сигаретой, говорил Сергей. — Раньше работал учителем физики. Когда бардак только начинался, организовал кооператив по выпечке тортиков «Птичье молоко» и за два года сделал такие деньги, что сейчас снял в аренду целый кондитерский комбинат в Лефортове. Недавно взял большой кредит. Позавчера у него начался запой, а запои у него примерно по две недели.

— Откуда такие сведения? — поинтересовался Татарский.

— Секретарша, — сказал Сергей. — Так вот, брать его надо сейчас и нести сценарий, пока он не успел отойти. Когда он трезвый, его всегда жаба душит. У нас встреча завтра в час в его конторе.

На следующий день Морковин приехал к Татар-

скому домой рано. Он привез с собой большой полиэтиленовый пакет ярко-желтого цвета. В пакете был бордовый пиджак из материала, похожего на шинельное сукно. На его нагрудном кармане посверкивал сложный герб, напоминающий эмблему с пачки «Мальборо». Морковин сказал, что этот пиджак — клубный. Татарский не понял, но послушно надел. Еще Морковин достал из пакета пижонский блокнот в кожаной обложке, невероятно толстую ручку с надписью «Zoom» и пейджер — тогда они только появились в Москве.

— Эту штуку наденешь на пояс, — сказал он. — Вы встречаетесь с клиентом в час, а в час двадцать я тебе на этот пейджер позвоню. Когда он запищит, снимешь его с пояса и со значением на него посмотришь. Все время, пока клиент будет говорить, делай пометки в блокноте.

— Зачем все это? — полюбопытствовал Татарский.

— Неужели не ясно? Клиент платит большие деньги за лист бумаги и несколько капель чернил из принтера. Он должен быть абсолютно уверен, что перед ним деньги за это же самое заплатило много других людей.

— По-моему, — сказал Татарский, — как раз из-за всех этих пиджаков и пейджеров у него могут возникнуть сомнения.

— Усложняешь, — махнул рукой Морковин. — Жизнь проще и глупее. И вот еще...

Он вынул из кармана узкий футляр, открыл его и протянул Татарскому. В футляре лежали тяжелые, красиво-уродливые часы из золота и стали.

— Это «Ролекс Уйстер». Осторожней, не сбей по-

золоту — они фальшивые. Я их только на дело беру. Когда будешь говорить с клиентом, ты ими так, знаешь, побрякивай. Помогает.

Татарский был очень воодушевлен поддержкой. В половине первого он вышел из метро. Ребята из «Драфт Подиума» уже ждали его недалеко от входа. Приехали они на длинном черном «мерседесе». Татарский уже достаточно разобрался в бизнесе, чтобы понять, что машина нанята часа на два. Сергей был все так же небрит, но теперь в его небритости было что-то мрачно-стильное — наверно, из-за темного пиджака с невероятно узкими лацканами и бабочки. Рядом с ним сидела Лена, которая занималась контрактами и бухгалтерией. На ней было простое черное платье (ни украшений, ни косметики), а в руке она держала папку с золотым замочком. Когда Татарский влез в машину, все трое переглянулись, и Сергей сказал шоферу:

— Вперед.

Лена нервничала. Всю дорогу, прихихатывая, она рассказывала про какого-то Азадовского — видимо, любовника своей подруги. Этот Азадовский вызывал у нее чувство, близкое к восхищению: приехав в Москву с Украины, он вселился к ее знакомой, прописался на ее площади, потом вызвал из Днепропетровска сестру с двумя детьми, прописал их там же и тут же, без всякой паузы, разменял квартиру через суд, отправив подругу в комнату в коммуналке.

— Этот человек далеко пойдет! — повторяла Лена.

Ее особенно впечатляло то, что сестра с детьми сразу же после этой операции была сослана назад в Днепропетровск; вообще, в рассказе присутствовали такие подробности, что под конец поездки Татарскому

стало казаться, что он прожил половину жизни в квартире с Азадовским и его близкими. Впрочем, Татарский нервничал не меньше Лены.

Клиент (его имя так и осталось неизвестным) был удивительно похож на тот образ, который сложился в голове у Татарского после вчерашнего разговора. Это был короткий и плотный мужичок с хитрым лицом, на котором только начала рассасываться похмельная гримаса, — видимо, он выпил первый стакан незадолго до встречи.

После короткого обмена любезностями (говорила в основном Лена; Сергей сидел в углу, закинув ногу на ногу, и курил) Татарский был представлен в качестве сценариста. Сев за стол перед клиентом, он бухнул «Ролексом» о стол и раскрыл блокнот. Сразу же выяснилось, что клиенту сказать особо нечего. Без сильного галлюциногена было сложно вдохновиться деталями его бизнеса — он главным образом упирал на какие-то поддоны с фторовым покрытием, к которым ничего не прилипает. Слушая и чуть отворачивая лицо в сторону, Татарский кивал и ставил в блокноте бессмысленные закорючки. Краем глаза он осмотрел комнату — в ней тоже не было ничего интересного, если не считать голубой пыжиковой шапки, явно очень дорогой, которая лежала на верхней полке в пустом застекленном шкафу.

Как и было обещано, через несколько минут на поясе у него зазвонил пейджер. Татарский снял с ремня черный пластмассовый ящичек. В его окошке были слова: «Welcome to the route 666»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «Добро пожаловать на шоссе 666» (англ.).

«Шутник, а?» — подумал Татарский.

— Это не из «Видео Интернешнл»? — спросил из угла Сергей.

— Нет, — ответил Татарский, принимая подачу. — Мне эти лохи, слава Богу, больше не звонят. Это Слава Зайцев. На сегодня все отменяется.

— Почему? — спросил Сергей, поднимая бровь. — Если он думает, что нам это нужнее, чем ему...

— Потом поговорим, — сказал Татарский. Клиент тем временем задумчиво и насупленно глядел на свою пыжиковую шапку в застекленном шкафу. Татарский посмотрел на его руки. Они были сцеплены замком, а большие пальцы быстро вращались друг вокруг друга, словно наматывая на себя невидимую нить. Это и был момент истины.

— А вы не боитесь, что все может кончиться? — спросил Татарский. — Ведь время сами знаете какое. Вдруг все рухнет?

Клиент поморщился и с недоумением поглядел сначала на Татарского, а потом на его спутников. Его пальцы перестали крутиться.

— Боюсь, — ответил он, поднимая глаза. — А кто не боится-то? Странные какие-то у вас вопросы.

— Извините, — сказал Татарский. — Это я так.

Минут через пять беседа кончилась. Сергей взял у клиента бланк с его логотипом — это был стилизованный пирожок в овале, под которым стояли буквы «ЛКК». Договорились о встрече через неделю; Сергей обещал, что к этому времени будет готов сценарий ролика и какие-то «раскадровка» и «баланс».

— У тебя что, крыша поехала? — спросил Сергей Татарского, когда они вышли на улицу. — Кто ж такие вопросы задает?

— Ничего, — сказал Татарский. — Зато теперь я знаю, чего он хочет.

«Мерседес» довез всех троих до ближайшего метро.

Вернувшись домой, Татарский за несколько часов написал сценарий. Уже давно он не чувствовал такого вдохновения. В сценарии не было конкретно сюжета — он состоял из чередования исторических реминисценций и метафор. Росла и рушилась Вавилонская башня, разливался Нил, горел Рим, скакали куда-то по степи бешеные гунны — а на заднем плане вращалась стрелка огромных прозрачных часов.

«Род приходит, и род уходит, — говорил глухой и демонический (Татарский так и написал в сценарии) голос за кадром, — а земля пребывает вовеки».

Но даже земля с развалинами империй и цивилизаций погружалась в конце концов в свинцовый океан; над его ревущей поверхностью оставалась одинокая скала, как бы рифмующаяся своей формой с Вавилонской башней, с которой начинался сценарий. Камера наезжала на скалу, и становился виден выбитый в камне пирожок с буквами «ЛКК», под которым был девиз, найденный Татарским в сборнике «Крылатые латинизмы»:

MEDIIS TEMPUSTATIBUS PLACIDUS.

СПОКОЙНЫЙ СРЕДИ БУРЬ.

*ЛЕФОРТОВСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ*

В «Драфт Подиуме» к произведению Татарского отнеслись с ужасом.

— Технически это сделать несложно, — сказал Сергей. — Надрать видеоряда из старых фильмов,



подкрасить, растянуть. Но ведь это полная шиза. Даже как-то смешно.

— Шиза, — согласился Татарский. — И смешно. Только ты скажи, чего ты хочешь? Премию в Каннах получить или заказ?

Через пару дней Лена повезла клиенту несколько вариантов сценария, написанных другими людьми. В них были задействованы юный повар неясной сексуальной ориентации (предлагался классический сюжет с поручиком Ржевским и вишневой косточкой; слоган был «А повар ел пирожное с вишней»), черные «мерседесы», набитый долларами чемодан и прочие народные архетипы. Все это клиент отверг без объяснения причин. В отчаянии Лена показала сценарий, написанный Татарским.

В студию она вернулась с договором на тридцать пять тысяч, из которых двадцать выплачивалось авансом. Это был рекорд. По ее словам, прочитав сценарий, клиент повел себя как гаммельнская крыса, услышавшая целый духовой оркестр.

— Можно было сорок снять, — сказала она. — Я поздно поняла, дура.

Деньги пришли на счет через пять дней, и Татарский получил честно заработанные две тысячи. Сергей со своей командой уже собирался ехать в Ялту, чтобы снять подходящую скалу, на которой в последних кадрах должен был появиться высеченный в граните пирожок, когда клиента нашли мертвым в его офисе. Кто-то задушил его телефонным проводом. На теле нашли традиционные следы электроутюга, а во рту — вдавленное безжалостной рукой пирожное «НоктюРН» (пропитанный ликером бисквит,

минорно-горький шоколад, чуть присыпанный трагическим инеем тертого кокоса).

«Род приходит, и род уходит, — философски подумал Татарский, — а своя рубашка к телу ближе».

Так Татарский стал копирайтером. Ни с кем из своего прежнего начальства он объясняться не стал, а просто положил ключи от ларька на крыльцо вагончика, где сидел Гусейн. Ходили слухи, что за выход из бизнеса чечены требуют больших отступных.

Довольно быстро он оброс новыми знакомствами и стал работать сразу на несколько студий. Такие прорывы, как со спокойным среди бурь Лефортовским кондитерским комбинатом, происходили, к сожалению, не особенно часто. Скоро Татарский понял, что, если один из десяти проектов кончается успешно, это уже большая удача. Денег он зарабатывал не особенно много, но все равно выходило больше, чем на ниве розничной торговли. Про свою первую рекламную работу он вспоминал с неудовольствием, находя в ней какую-то постыдно-поспешную готовность недорого продать все самое высокое в душе. А когда заказы пошли один за другим, он понял, что в бизнесе никогда не следует проявлять поспешности, иначе сильно сбавляешь цену, а это глупо: продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем. Впрочем, Татарский знал, что это правило распространяется не на всех. По-настоящему виртуозные мастера жанра, которых он видел иногда по телевизору, ухитрялись продавать самое высокое ежедневно, но таким образом, что не было никаких формальных поводов

сказать, будто они что-то продали, и на следующий день они могли смело начинать всё заново. Как это достигалось, Татарский не мог даже представить.

Постепенно стала прослеживаться одна очень неприятная тенденция: заказчик получал разработанный Татарским проект, вежливо объяснял, что это не совсем то, что требуется, а через месяц или два Татарский натыкался на клип, явно сделанный по его идее. Искать правды в таких случаях было бесполезно.

Посоветовавшись с новыми знакомыми, Татарский попытался запрыгнуть ступенькой выше в рекламной иерархии и стал разрабатывать рекламные концепции. Эта работа мало отличалась от прежней. Была одна волшебная книга, прочтя которую можно было уже никого не стесняться и ни в чем не сомневаться. Она называлась «Positioning: a battle for your mind»<sup>1</sup>, а написали ее два продвинутых американских колдуна. По своей сути она была совершенно неприменима в России. Насколько Татарский мог судить, никакого сражения между товарами за ниши в развороченных отечественных мозгах не происходило; ситуация больше напоминала дымящийся пейзаж после атомного взрыва. Но все же книга была полезной. Там было много шикарных выражений вроде *line extention*, которые можно было вставлять в концепции и базары. Татарский понял, чем эра застаивания империализма отличается от эпохи первоначального накопления капитала. На Западе заказчик рекламы и копирайтер вместе пытались промыть мозги потребителю, а в России задачей ко-

---

<sup>1</sup> «Позиционирование: битва за ваш разум» (англ.).

пиратера было законопатить мозги заказчику. Кроме того, Татарский понял, что Морковин был прав и эта ситуация не изменится никогда. Покурив однажды очень хорошей травы, он случайно открыл основной экономической закон постсоциалистической формации: первоначальное накопление капитала является в ней также и окончательным.

Перед сном Татарский иногда перечитывал книгу о позиционировании. Он считал ее своей маленькой Библией; сравнение было тем более уместным, что в ней встречались отзвуки религиозных взглядов, которые особенно сильно действовали на его непорочную душу: «Романтические копирайтеры пятидесятых, уже перешедшие в огромное рекламное агентство на небесах...»

## **ТИХАМАТ-2**

Предсказание Морковина стало сбываться — в рекламе оставалось все меньше и меньше работы для одиночек, и постепенно в карьере Татарского настала штилевая полоса. Работа уходила в агентства, которые имели в штате своих собственных копирайтеров и так называемых криэйторов. Эти агентства множились неудержимо — как грибы после дождя или, как Татарский написал в одной концепции, грибы после вождя.

А вождь наконец-то покидал насиженную Россию. Его статуи увозили за город на военных грузовиках (говорили, что какой-то полковник придумал переплавлять их на цветной металл и много заработал, пока не грохнули), но на смену приходила

только серая страшноватость, в которой душа советского типа быстро догнивала и проваливалась внутрь самой себя. Газеты уверяли, что в этой страшноватости давно живет весь мир и оттого в нем так много вещей и денег, а понять это мешает только «советская ментальность».

Что такое «советская ментальность», или сакраментальный «совок», Татарский понимал не до конца, хотя пользовался этим выражением часто и с удовольствием. Но с точки зрения его нового нанимателя, Дмитрия Пугина, он и не должен был ничего понимать. Он должен был такой ментальностью обладать. Именно в этом и заключался смысл его занятия — приспособливать западные рекламные концепции под ментальность российского потребителя. Работа была *free lance* — Татарский переводил это выражение как «свободный копейщик», имея в виду прежде всего свою оплату.

Пугин, мужчина с черными усами и блестящими черными глазами, очень похожими на две пуговицы, нарисовался случайно, в гостях у общих знакомых. Узнав, что Татарский занимается рекламой, он проявил к нему умеренный интерес. А Татарский сразу преисполнился к Пугину иррациональным уважением — его поразило, что тот сидел за чаем прямо в длиннополом черном пальто.

Тогда-то и заговорили о советской ментальности. Пугин признался, что в былые дни обладал ею и сам, но начисто утратил ее, несколько лет проработав таксистом в Нью-Йорке. Соленые ветра Брайтон-Бич выдули из его головы затхлые советские конструкции и заразили неудержимой тягой к успеху.

— В Нью-Йорке особенно остро понимаешь, — сказал он Татарскому за водочкой, к которой перешли после чая, — что можно провести всю жизнь на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в обосранный грязный двор и жуя дрянную котлету. Будешь вот так стоять у окна, глядеть на это говно и помойки, а жизнь незаметно пройдет.

— Интересно, — задумчиво отозвался Татарский, — а зачем для этого ехать в Нью-Йорк? Разве...

— А потому что в Нью-Йорке это понимаешь, а в Москве нет, — перебил Пугин. — Правильно, здесь этих вонючих кухонь и обосранных дворов гораздо больше. Но здесь ты ни за что не поймешь, что среди них пройдет вся твоя жизнь. До тех пор, пока она действительно не пройдет. И в этом, кстати, одна из главных особенностей советской ментальности.

Мнения Пугина были в чем-то спорными, но то, что он предлагал, было просто, понятно и логично. Насколько Татарский мог судить из глубин своей советской ментальности, проект являлся просто хрестоматийным образцом американской предприимчивости.

— Смотри, — говорил Пугин, прищуренно глядя в пространство над головой Татарского, — совок уже почти ничего не производит сам. А людям ведь надо что-то есть и носить? Значит, сюда скоро пойдут товары с Запада. А одновременно с этим хлынет волна рекламы. Но эту рекламу нельзя будет просто перевести с английского на русский, потому что здесь другие... как это... *cultural references*... Короче, рекламу надо будет срочно адаптировать для русского потребителя. Теперь смотри, что делаем мы с

тобой. Мы с тобой берем и загодя — понимаешь? — загодя подготавливаем болванки для всех серьезных брэндов. А потом, как только наступает время, приходим с папочкой в представительство и делаем бизнес. Главное — вовремя обзавестись хорошими мозгами!

И Пугин хлопал ладонью по столу — он явно считал, что уже обзавелся ими. Но у Татарского возникло вялое чувство, что его опять дурят. Перспективы работы на Пугина прорисовывались смутно — хотя работа была вполне конкретной, было неясно, как и когда за нее будут платить.

В качестве пробного шара Пугин дал задание на разработку эскизной концепции для «Спрайта» — сначала он хотел дать еще и «Мальборо», но внезапно передумал, сказав, что Татарскому рано за это браться. Тут, как впоследствии понял Татарский, и проявилась советская ментальность, за которую он был востребован. Весь его скепсис в отношении Пугина мгновенно растаял от обиды, что тот не доверил ему «Мальборо». Но эта обида была смешана с радостью от того, что «Спрайт» ему все-таки остался, и, захваченный водоворотом этих чувств, он даже не задумался, почему это какой-то таксист с Брайтон-Бич, который не дал ему ни копейки денег, уже решает, можно ему думать о концепции для «Мальборо» или нет.

В проект для «Спрайта» Татарский вложил все свое понимание ушибленного исторического пути Родины. Перед тем как сесть за работу, он перечитал несколько избранных глав из книги «Positioning: a battle for your mind» и целую кучу газет разных на-

правлений. Газет он не читал давно, и от прочитанного пришел в смятение. Это, конечно, сказалось на продукте.

Необходимо в первую очередь учитывать, — написал он в концепции, — что ситуация, которая сложилась к настоящему моменту в России, долго существовать не может.

В ближайшем будущем следует ожидать полной остановки большинства жизненно необходимых производств, финансового краха и серьезных социальных потрясений, что неизбежно закончится установлением военной диктатуры. Вне зависимости от своей политической и экономической программы будущая диктатура попытается обратиться к националистическим лозунгам; господствующей государственной эстетикой станет ложнославянский стиль. (Этот термин употребляется нами не в негативно-оценочном смысле. В отличие от славянского стиля, которого не существует в природе, ложнославянский стиль является разработанной и четкой парадигмой.) А в его знаково-символическом поле традиционная западная реклама немислима. Поэтому она или будет запрещена полностью, или будет подвергаться жесткой цензуре. Это необходимо принимать во внимание при составлении сколько-нибудь долговременной стратегии.

Рассмотрим классический позиционный слоган «Sprite – the Uncola». Его исполь-



зование в России представляется крайне целесообразным, но по несколько иным причинам, чем в Америке. Термин «Uncola» (то есть не-кола) крайне успешно позиционирует «Спрайт» против «Пепси-колы» и «Кока-колы», создавая особую нишу для этого продукта в сознании западного потребителя. Но, как известно, в странах Восточной Европы «Кока-кола» является скорее идеологическим фетишем, чем прохладительным напитком. Если, например, напитки «Херши» обладают устойчивым «вкусом победы», то «Кока-кола» обладает «вкусом свободы», как это было заявлено в семидесятые и восьмидесятые годы целым рядом восточноевропейских перебежчиков. Поэтому для отечественного потребителя термин «Uncola» имеет широкие антидемократические и антилиберальные коннотации, что делает его крайне привлекательным и многообещающим в условиях военной диктатуры.

В переводе на русский «Uncola» будет «Некола». По своему звучанию (похоже на имя «Никола») и вызываемым ассоциациям это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего. Возможные варианты слоганов:

СПРАЙТ. НЕ-КОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ

(Имеет смысл подумать о введении в сознание потребителя «Никола Спрайтова» — персонажа наподобие Рональда Макдональда, только глубоко национального по духу.)

ПУСТЬ НЕТУ НИ КОЛА И НИ ДВОРА.

СПРАЙТ. НЕ-КОЛА ДЛЯ НИКОЛЫ

(Второй слоган нацелен на маргинальные группы.)

Кроме того, необходимо подумать об изменении оформления продукта, продаваемого на российском рынке. Здесь тоже необходимо ввести элементы ложнославянского стиля. Идеальным символом представляется березка. Было бы целесообразно поменять окраску банки с зеленой на белую в черных полосках наподобие ствола березы. Возможный текст в рекламном ролике:

«Я в весеннем лесу  
Пил березовый Спрайт».

Прочитав принесенную Татарским распечатку, Пугин сказал:

— The Uncola — это слоган «Севен-Ап», а не «Спрайта».

После этого он некоторое время молчал, глядя на Татарского своими глазами-пуговицами. Татарский тоже молчал, вспоминая, сколько раз в жизни он уже бывал в таком идиотском положении.

— Но это ничего, — сжалился наконец Пугин. — Использовать можно. Если не для «Спрайта», так для «Севен-Ап». Так что можно считать, что экзамен ты сдал. Теперь попробуй какой-нибудь другой брэнд.

— А какой? — с облегчением спросил Татарский.

Пугин подумал, пошарил в карманах и протянул ему начатую пачку «Парламента».

— И еще плакат для них придумай, — сказал он.

С «Парламентом» все оказалось сложнее. Для начала Татарский написал обычное:

Совершенно ясно, что при составлении сколько-нибудь серьезной рекламной концепции следует прежде всего учитывать...

После этого он надолго замер. Что следовало прежде всего учитывать, было на самом деле совершенно неясно. Единственной ассоциацией, которую с трудом выжимало из него слово «Парламент», были войны Кромвеля в Англии. То же самое, видимо, относилось к среднему российскому потребителю, читавшему в детстве Дюма. Полчаса предельного напряжения всех духовных сил привели только к рождению слогана-дегенерата:

ПАР КОСТЕЙ НЕ ЛАМЕНТ

Когда «Парламент» кончился, Татарский захотел курить. Он обыскал всю квартиру в поисках курева и нашел старую пачку «Явы». Сделав две затяжки, он бросил сигарету в унитаз и кинулся к столу. У него родился текст, который в первый момент показался ему решением:

*PARLIAMENT — THE UNYABA*

Но сразу же он вспомнил, что слоган должен быть на русском. После долгих мучений он записал:

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

ПАРЛАМЕНТ. НЕЯВА

Поняв, что это некачественная калька со слова *uncola*, он почти было сдался. И вдруг его осенило. Курсовая по истории, которую он писал в Литинституте, называлась «Краткий очерк истории парламентаризма в России». Он уже ничего из нее не помнил, но был совершенно уверен, что в ней хватит материала на три концепции, не то что на одну. Приплясывая от возбуждения, он направился по коридору ко встроенному шкафу, где хранились его старые бумаги.

Через полчаса поисков стало ясно, что курсовой он не найдет. Но было уже как-то не до нее — разбирая скопившиеся в стенном шкафу залежи, он нашел на антресольной полке несколько объектов, хранившихся там еще со школьных времен: изуродованный ударами туристского топорика бюст Ленина (Татарский вспомнил, что после экзекуции сам спрятал его в труднодоступном месте, опасаясь возмездия), тетрадь по обществоведению, заполненная рисунками танков и атомных взрывов, и несколько старых книг.

Все это переполнило его такой безысходной ностальгией, что работодатель Пугин вызвал в нем отвращение и ненависть, после чего подвергся полному вытеснению из сознания вместе со своим «Парламентом».

Найденные книги, как Татарский с нежностью вспомнил, были отобраны из макулатуры, которую их посылали собирать после уроков. Среди них были

*Виктор Пелевин*

томик изданного в шестидесятые годы левого французского экзистенциалиста, прекрасно оформленный сборник статей по теоретической физике «Бесконечность и Вселенная» и папка-скоросшиватель с крупной надписью «Тихамат» на корешке.

Книгу «Бесконечность и Вселенная» Татарский помнил, а папку нет. Раскрыв ее, он прочел на первой странице:

*ТИХАМАТ-2*

*Море земное.*

*Хронологические таблицы и примечания.*

Бумаги, подшитые в папку, явно относились к предкомпьютерной эре. Татарский помнил кучу самиздатовских книг, которые ходили именно в таком формате — две уменьшенные вдвое машинописные страницы, откопированные на один лист. У него в руках было, судя по всему, приложение к диссертации по истории древнего мира.

Татарский начал что-то вспоминать: кажется, в детстве он даже не открывал эту папку, а понял слово «Тихамат» как некую разновидность сопромата пополам с истматом, настоящую на народной мудрости насчет того, что тише едешь — дальше будешь. А взял он этот труд исключительно из-за красивого скоросшивателя, после чего просто забыл про него.

Оказалось, однако, что «Тихамат» — то ли имя древнего божества, то ли название океана, то ли все это вместе. Татарский понял из сноски, что слово

можно было примерно перевести на русский как «Хаос».

Большую часть места в папке занимали «таблицы царей». Они были довольно однообразны — в них перечислялись труднопроизносимые имена с римскими цифрами и сообщалось, кто и когда выступил в поход, заложил стену, взял город и так далее. В нескольких местах сравнивались разные источники, и из этого сравнения делался вывод, что несколько событий, вошедших в историю как последовательные, были на самом деле одним и тем же происшествием, так поразившим современников и потомков, что его эхо раздвоилось и растроилось, а потом каждое из них зажило своей жизнью. Автору это открытие, как следовало из его торжествующе-извиняющегося тона, явно представлялось революционным и даже иконоборческим, что заставило Татарского лишней раз задуматься о тщете всех человеческих трудов. Никакого потрясения от того, что Ашуретилшамерситубаллисту II оказался на самом деле Небухаданаззером III, он не испытал — неведомый историк со своим пафосом по этому поводу был немного смешон. Цари тоже были смешны: про них даже не было толком известно, люди они или ошибки переписчика глиняных табличек, и след от них остался только на этих самых табличках. Татарский, во всяком случае, никогда раньше про них не слышал; слово «Небухаданаззер» показалось ему отличным определением человека, который страдает без опохмелки.

Вслед за хронологическими таблицами шли статьи-примечания к неизвестному тексту — в папке

*Виктор Пелевин*

было много вклеенных фотографий каких-то древностей. Вторая или третья по счету статья, на которую наткнулся Татарский, была озаглавлена:

*ВАВИЛОН: ТРИ ХАЛДЕЙСКИЕ ЗАГАДКИ*

Сквозь букву «О» в слове «Вавилон» проступала замазанная «Е» — это была просто исправленная опечатка, но Татарский при виде ее пришел в волнение. Данное при рождении и отвергнутое при совершеннолетию имя настигло его в тот момент, когда он совершенно забыл о той роли, которую, как он рассказывал друзьям в детстве, должны были сыграть в его судьбе тайные доктрины Вавилона.

Под заголовком был снимок оттиска печати — решетчатая дверь на вершине то ли горы, то ли ступенчатой пирамиды, возле которой стоял бородастый человек в юбке, с чем-то вроде пледа, перекинутого через плечо. Татарскому показалось, что человек держит за тонкие косы две отрубленных головы. Но у одной головы не было черт лица, а вторая весело улыбалась. Татарский прочел надпись под рисунком: «Халдей с маской и зеркалом на зиккурате». Сев на стопку вынутых из шкафа книг, он стал читать текст под фотографией.

*«Стр. 123. Зеркало и маска — ритуальные предметы Иштар. Каноническое изображение, наиболее полно выражающее сакральный символизм ее культа, — Иштар в золотой маске, смотрящаяся в зеркало. Золото суть тело богини; его негативная проекция — свет звезд. Отсюда некоторыми исследова-*

телями делается предположение, что третьим ритуальным предметом богини является мухомор, шляпка которого является природной картой звездного неба. В этом случае именно мухомор следует считать «небесным грибом», упоминающимся в различных текстах. Это косвенно подтверждается деталями мифа о трех великих эрах — красного, синего и желтого неба. Красный мухомор связывает халдею с прошлым; через него становится доступной мудрость и сила эры красного неба. Коричневый мухомор («коричневый» и «желтый» по-аккадски обозначались одним словом), напротив, связывает с будущим, и через него возможно овладеть всей его неисчерпаемой энергией».

Перевернув наугад несколько страниц, Татарский опять наткнулся на слово «мухомор».

*«Стр. 145. Три халдейские загадки (Три загадки Иштар). Предание о трех халдейских загадках гласило, что мужем богини мог стать любой житель Вавилона. Для этого он должен был выпить особый напиток и взойти на ее зиккурат. Неизвестно, что имелось в виду: церемониальное восхождение на реальную постройку в Вавилоне или галлюцинаторный опыт. В пользу второго предположения говорит то, что напиток приготавливался по довольно экзотическому рецепту: в него входили «моча красного осла» (возможно, традиционная в древней алхимии киноварь) и «небесные грибы» (видимо, мухомор — см. «Зеркало и маска»).*

*По преданию, путь к богатству и совершенной*



мудрости (а вавилоняне не разделяли этих двух понятий — они скорее считались взаимно переходящими друг в друга и рассматривались как различные аспекты одного и того же) лежал через сексуальный союз с золотым идолом богини, который находился в верхней комнате зиккурата. Считалось, что дух Иштар в определенные часы сходит на этого идола.

Чтобы быть пропущенным к идолу, необходимо было разгадать три загадки Иштар. Эти загадки до нас не дошли. Отметим спорную точку зрения Клода Греко (см. 11, 12), который полагает, что речь идет о наборе ритмизованных и весьма полисемантических из-за своей омонимичности заклинаний на древнеаккадском, найденных на раскопках в Ниневии.

Гораздо более убедительной, однако, представляется версия, основанная сразу на нескольких источниках: три загадки Иштар представляли собой три символических объекта, которые вручались вавилонянину, пожелавшему стать халдеем. Он должен был разъяснить значение этих предметов (мотив символического послания). На спиральном подъеме на зиккурат было три заставы, где будущему халдею по очереди предлагались эти объекты. Того, кто решал хоть одну загадку неправильно, стража заставы сталкивала с зиккурата вниз, что означало верную гибель. (Есть основания выводить позднейший культ Кибелы, основанный на ритуальном самооскоплении, из культа Иштар: самооскопление, видимо, играло роль замещающей жертвы.)

Тем не менее желающих было множество, так как ответы, которые позволяли пройти на вершину зиккурата и соединиться с богиней, все же существо-

вовали. Раз в несколько десятилетий это кому-нибудь удавалось. Человек, который решал все три загадки правильно, всходил на вершину и встречался с богиней, после чего становился посвященным халдеем и ее ритуальным земным мужем (возможно, таких было несколько).

По одной из версий, ответы на три загадки Иштар существовали и в письменном виде. В специальных местах в Вавилоне продавались запечатанные таблички с ответами на вопросы богини (по другой версии, речь идет о магической печати, на которой были вырезаны ответы). Изготовлением этих табличек и торговлей ими занимались жрецы главного храма Энкиду — бога-покровителя Лотереи. Считалось, что через посредничество Энкиду богиня выбирает себе очередного мужа. Это снимало хорошо известный древним вавилонянам конфликт между божественным предопределением и свободой воли. Поэтому большинство решавшихся взойти на зиккурат покупало глиняные таблички с ответами; считалось, что табличку можно распечатать, только взойдя на зиккурат.

Эта практика и называлось Великой Лотереей (устоявшийся термин, которым мы обязаны многочисленным беллетристам, вдохновлявшимся этой легендой, но более точный вариант перевода — «Игра Без Названия»). В ней существовали только выигрыш и смерть, так что в определенном смысле она была беспроигрышной. Некоторые смельчаки решались подниматься на зиккурат без таблички с подсказкой.

По другой трактовке, три вопроса Иштар были

*Виктор Пелевин*

*не загадками, а скорее символическими ориентирами, указывающими на определенные жизненные ситуации. Вавилонянин должен был пройти их и представить доказательства своей мудрости страже зиккурата, что делало возможным встречу с богиней. (В этом случае вышеописанный подъем на зиккурат представляется скорее метафорой.) Бытовало поверье, что ответы на три вопроса Иштар скрыты в словах «рыночных песен», которые поют каждый день на вавилонском базаре, но сведений об этих песнях или этом обычае не сохранилось».*

Протерев папку от пыли, Татарский спрятал ее назад в шкаф, решив, что когда-нибудь непременно прочтет все полностью.

Курсовой по истории русского парламентаризма в шкафу не нашлось. Впрочем, к концу поисков Татарский понял: история парламентаризма в России увенчивается тем простым фактом, что слово «парламентаризм» может понадобиться разве что для рекламы сигарет «Парламент» — да и там, если честно, можно обойтись без всякого парламентаризма.

## **ТРИ ЗАГАДКИ ИШТАР**

На следующий день Татарский, все еще погруженный в мысли о сигаретной концепции, встретил в начале Тверской улицы своего одноклассника Андрея Гиреева, о котором ничего не слышал несколько лет. Гиреев поразил его своим нарядом — синей рясой, поверх которой была накинута расшитая непальская жилетка. В руках он держал что-то вроде

большой кофемолки, покрытой тибетскими буквами и украшенной цветными лентами, ручку которой он вращал; несмотря на крайнюю экзотичность всех элементов его наряда, в сочетании друг с другом они смотрелись настолько естественно, что как бы нейтрализовывали друг друга. Никто из прохожих не обращал на Гиреева внимания: подобно фонарному столбу или рекламе «Пепси-колы», он выпадал из поля восприятия из-за полной визуальной неинформативности.

Татарский сначала узнал Гиреева в лицо и только потом обратил внимание на богатые детали его облика. Внимательно поглядев ему в глаза, он понял, что Гиреев не в себе, хотя вроде не пьян. Несмотря на это, тот был собран, тих и внушал доверие.

Он сказал, что живет под Москвой в поселке Растиоргуево, и пригласил в гости. Татарский согласился, и они нырнули в метро, а на «Варшавской» пересели в электричку. Ехали молча; Татарский изредка отрывался от вида за окном и смотрел на Гиреева. Тот в своей диковатой одежде казался последним осколком погибшей вселенной — не советской, потому что в ней не было бродячих тибетских астрологов, а какой-то другой, существовавшей параллельно советскому миру и даже вопреки ему, но пропавшей вместе с ним. И ее было жалко, потому что многое, что когда-то нравилось Татарскому и трогало его душу, приходило из этой параллельной вселенной, с которой, как все были уверены, ничего никогда не может случиться. А произошло с ней примерно то же самое, что и с советской вечностью, и так же незаметно.

Гиреев жил в покосившемся черном доме, перед которым был одичавший сад, заросший высокими, в полтора человеческих роста, зонтиками. По уровню удобств его жилье было переходной формой между деревней и городом: в будке-уборной сквозь дыру были видны мокрые и осклизлые канализационные трубы, проходящие над выгребной ямой, но откуда и куда они вели, было неясно. Однако в доме были газовая плита и телефон.

Гиреев усадил Татарского за стол на веранде и насыпал в заварной чайник крупно смолотого порошка из красной жестяной банки с белой надписью по-эстонски.

— Что это? — спросил Татарский.

— Мухоморы, — ответил Гиреев и налил в чайник кипятку. По комнате разнесся запах грибного супа.

— Ты что, собираешься это пить?

— Не бойся, — сказал Гиреев, — коричневых тут нет.

Он произнес это таким тоном, будто снял все мыслимые возражения, и Татарский не нашелся, что ответить. Минуту он колебался, а потом вспомнил, что вчера как раз читал о мухоморах, и поборол сомнения. На вкус мухоморный чай оказался довольно приятным.

— И чего от него будет?

— Сам увидишь, — ответил Гиреев. — Еще будешь их на зиму сушить.

— А что сейчас делать?

— Что хочешь, — сказал Гиреев.

— Говорить можно?

— Говори.

Полчаса прошло за малосодержательной беседой об общих знакомых. Ни с кем из них, как и следовало ожидать, не произошло за это время ничего интересного. Только один, Леша Чикунов, отличился — выпил несколько бутылок «Финляндии» и звездной январской ночью замерз насмерть в домике на детской площадке.

— Ушел в Валгаллу, — скупо прокомментировал Гиреев.

— Откуда такая уверенность? — спросил Татарский, но тут же вспомнил бегущих оленей и багровое солнце с этикетки и внутренне согласился.

Между тем в его теле появилась какая-то еле ощутимая веселая расслабленность. В груди возникали волны приятной дрожи, проходили по туловищу и рукам и затихали, чуть-чуть не добравшись до пальцев. А Татарскому отчего-то захотелось, чтобы эта дрожь непременно дошла до пальцев. Он понял, что выпил мало. Но чайник был уже пуст.

— Есть еще? — спросил он.

— Во, — сказал Гиреев, — о чем я и говорил.

Он встал, вышел из комнаты и возвратился с развернутой газетой, на которой были рассыпаны сухие кусочки нарезанных мухоморов. На некоторых из них остались лоскутки красной кожицы со стянувшимися белыми бляшками, на других были приставшие волокна газетной бумаги с зеркальными отпечатками букв.

Кинув несколько кусочков в рот, Татарский разжевал их и проглотил. Сушеные мухоморы немного напоминали по вкусу картофельные хлопья, только

были вкуснее — Татарский подумал, что их можно было бы продавать, как чипсы, в пакетиках, и здесь, видимо, скрывалась одна из дорог к быстрому обогащению, джипу, рекламному клипу и насильственной смерти. Задумавшись, каким мог бы быть этот клип, он отправил в рот новую порцию и огляделся по сторонам. Некоторые из предметов, украшавших комнату, стали заметны ему только сейчас. Например, лист бумаги, висевший на стене на самом видном месте, — на нем была извилистая буква, не то санскритская, не то тибетская, похожая на дракона с изогнутым хвостом.

— Что это? — спросил он Гиреева.

Гиреев покосился на стену.

— Хум, — сказал он.

— А зачем тебе?

— Я таким образом путешествую.

— Куда? — спросил Татарский.

Гиреев пожал плечами.

— Трудно объяснить, — сказал он. — Хум. Когда не думаешь, многое становится ясно.

Но Татарский уже забыл о своем вопросе. Его захлестнула волна благодарности к Гирееву за то, что тот привез его сюда.

— Знаешь, — сказал он, — у меня сейчас тяжелый период. Общаюсь в основном с банкирами и рекламодателями. Загружают просто свинцово. А у тебя здесь... Прямо как домой вернулся.

Гиреев, видимо, понимал, что с ним происходит.

— Пустяки, — сказал он. — Не бери в голову. Ко мне зимой приезжала пара таких рекламодателей.

Хотели сознание расширить. А потом босиком по снегу убежали. Пошли погуляем?

Татарский с радостью согласился. Выйдя за калитку, они пошли через поле, перерытое свежими канавами. Тропинка дошла до леса и запетляла между деревьев. Зудящая дрожь в руках Татарского становилась все сильнее, но все равно никак не доходила до пальцев. Заметив, что среди деревьев растет много мухоморов, он отстал от Гиреева и сорвал с земли несколько штук. Они были не красными, а темно-коричневыми и очень красивыми. Быстро съев их, он догнал Гиреева, который ничего не заметил.

Скоро лес кончился. Они вышли на большой открытый участок — колхозное поле, обрывавшееся у реки. Татарский поглядел вверх: над полем висели высокие неподвижные облака и догорал невыразимо грустный оранжевый закат, какие бывают иногда осенью под Москвой. Пройдясь по дорожке вдоль края поля, они сели на поваленное дерево. Говорить не хотелось.

Татарскому вдруг пришла в голову возможная рекламная концепция для мухоморов. Она основывалась на смелой догадке, что высшей формой самореализации мухомора как гриба является атомный взрыв — нечто вроде светящегося нематериального тела, которое обретают некоторые продвинутые мистики. А люди — просто вспомогательная форма жизни, которую мухомор использует для достижения своей высшей цели, подобно тому как люди используют плесень для приготовления сыра. Татарский поднял глаза на оранжевые стрелы заката, и поток его мыслей прервался.



— Слушай, — через несколько минут нарушил тишину Гиреев, — я о Леше Чикунове опять вспомнил. Жалко его, правда?

— Правда, — отозвался Татарский.

— Как это странно — он умер, а мы живем... Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история. А потом небытие надоедает само себе, и мы просыпаемся. И мир возникает снова.

— Как это небытие может надоесть само себе?

— Когда ты просыпаешься, ты каждый раз заново появляешься из ниоткуда. И все остальное точно так же. А смерть — это замена знакомого утреннего пробуждения чем-то другим, о чем совершенно невозможно думать. У нас нет для этого инструмента, потому что наш ум и мир — одно и то же.

Татарский попытался понять, что это значит, и заметил, что думать стало сложно и даже опасно, потому что его мысли обрели такую свободу и силу, что он больше не мог их контролировать. Ответ сразу же появился перед ним в виде трехмерной геометрической фигуры. Татарский увидел свой ум — это была ярко-белая сфера, похожая на солнце, но абсолютно спокойная и неподвижная. Из центра сферы к ее границе тянулись темные скрученные ниточки-волоконца. Татарский понял, что это и есть его пять чувств. Волоконце чуть потолще было зрением, потоньше — слухом, а остальные были почти невидимы. Вокруг этих неподвижных волокон плясала извивающаяся спираль, похожая на нить электрической лампы, которая то совпадала на миг с одним из

них, то завивалась сама вокруг себя светящимся клубком вроде того, что оставляет в темноте огонек быстро вращаемой сигареты. Это была мысль, которой будет занят его ум.

«Значит, никакой смерти нет, — с радостью подумал Татарский. — Почему? Да потому, что ниточки исчезают, но шарик-то остается!»

То, что ему удалось сформулировать ответ на вопрос, терзавший человечество последние несколько тысяч лет, в таких простых и всякому понятных терминах, наполнило его счастьем. Ему захотелось поделиться своим открытием с Гиреевым, и он, взяв его за плечо, попытался произнести последнюю фразу вслух. Но его рот произнес что-то другое, бессмысленное — все слоги, из которых состояли слова, сохранились, но оказались хаотически перемешанными. Татарский подумал, что ему надо выпить воды, и сказал испуганно глядящему на него Гирееву:

— Мне бы хопить вотелось поды!

Гиреев явно не понимал, что происходит. Но было ясно, что происходящее ему не нравится.

— Мне бы похить дытелось вохо! — кратко повторил Татарский и попытался улыбнуться.

Ему очень хотелось, чтобы Гиреев улыбнулся в ответ. Но Гиреев повел себя странно — встав с места, он попятился от Татарского, и тот понял, что означает выражение «проступивший на лице ужас». Этот самый ужас явственно отпечатался на лице его друга. Сделав несколько неуверенных шагов назад, Гиреев повернулся и побежал. Это оскорбило Татарского до глубины души.

Между тем уже начинали сгущаться сумерки.

Непальская жилетка Гиреева, мелькавшая в синей мгле между деревьями, была похожа на большую бабочку. Возможность погони показалась Татарскому волнующей. Он припустился следом за Гиреевым, высоко подпрыгивая, чтобы не споткнуться о какое-нибудь корневище или кочку. Скоро выяснилось, что он бежит гораздо быстрее Гиреева — просто несопоставимо быстрее. Несколько раз обогнав его и вернувшись назад, он заметил, что бежит не вокруг Гиреева, а вокруг обломка сухого ствола в человеческий рост. Это несколько привело его в чувство, и он побрел по тропинке туда, где, как ему казалось, была станция.

По дороге он съел еще несколько мухоморов, которые показали ему себя среди деревьев, и вскоре очутился на широкой грунтовке, с одной стороны которой шел забор из крашеной провололочной сетки.

Впереди появился прохожий. Татарский подошел к нему и вежливо спросил:

— Вы ска нежите стан пройти до акции? Ну, где торектрички хо?

Поглядев на Татарского, прохожий отшатнулся и побежал прочь. Похоже, сегодня все реагировали на него одинаково. Татарский вспомнил своего чеченского нанимателя и весело подумал: «Вот бы встретить Гусейна! Интересно, а он испугался бы?»

Когда вслед за этим на обочине дороги появился Гусейн, испугался сам Татарский. Гусейн молча стоял в траве и никак не реагировал на приближение Татарского. Но тот затормозил сам, подошел к нему тихим детским шагом и виновато замер.

— Чего хотел? — спросил Гусейн.

От испуга Татарский даже не заметил, нормально он говорит или нет. А сказал он нечто предельно неуместное:

— Я буквально на секунду. Я хотел спросить тебя как представителя target group: какие ассоциации вызывает у тебя слово «парламент»?

Гусейн не удивился. Чуть подумав, он ответил:

— Была такая поэма у аль-Газзави. «Парламент птиц». Это о том, как тридцать птиц полетели искать птицу по имени Семург — короля всех птиц и великого мастера.

— А зачем они полетели искать короля, если у них был парламент?

— Это ты у них спроси. И потом, Семург был не просто королем, а еще и источником великого знания. А о парламенте так не скажешь.

— И чем все кончилось? — спросил Татарский.

— Когда они прошли тридцать испытаний, они узнали, что слово «Семург» означает «тридцать птиц».

— От кого?

— Им это сказал божественный голос.

Татарский чихнул. Гусейн сразу замолчал и отвернул помрачневшее лицо. Довольно долго Татарский ждал продолжения, пока не понял, что Гусейн — это столб с прибитым плакатом «Костров не жечь!», плохо различимым в полутьме. Это его расстроило — как оказалось, Гиреев и Гусейн заодно. История Гусейна ему понравилась, но стало ясно, что ее деталей он не узнает, а в таком виде она не тянула на концепцию для сигарет. Татарский пошел дальше, размышляя, что заставило его трусливо ос-

тановиться возле столба-Гусейна, который даже не попросил его об этом.

Объяснение было не самым приятным: это был не до конца выдавленный из себя раб, рудимент советской эпохи. Немного подумав, Татарский пришел к выводу, что раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной ее области, а, скорее, окрашивает все происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств. Эта мысль показалась Татарскому важной в свете его предстоящего сотрудничества с Пугиным, и он долго шарил по карманам в поисках ручки, чтобы записать ее. Ручки, однако, не нашлось.

Зато навстречу вышел новый прохожий — на этот раз точно не галлюцинация. Это стало ясно после попытки Татарского одолжить ручку — прохожий побежал от него прочь, побежал по-настоящему быстро и не оглядываясь.

Татарский никак не мог взять в толк, что именно в его поведении действует на встречных таким устрашающим образом. Возможно, людей пугала странная дисфункция его речи — то, что слова, которые он пытался произнести, распадались на слоги, которые потом склеивались друг с другом случайным образом. Но в этой неадекватной реакции было все же и что-то лестное.

Татарского вдруг настолько поразила одна мысль, что он остановился и хлопнул себя ладонью по лбу. «Да это же вавилонское столпотворение! — подумал

он. — Наверно, пили эту мухоморную настойку, и слова начинали ломаться у них во рту, как у меня. А потом это стали называть смешением языков. Правильнее было бы говорить «смешение языка»...»

Татарский чувствовал, что его мысли полны такой силы, что каждая из них — это пласт реальности, равноправный во всех отношениях с вечерним лесом, по которому он идет. Разница была в том, что лес был мыслью, которую он при всем желании не мог перестать думать. С другой стороны, воля почти никак не участвовала в том, что происходило в его уме. Как только он подумал о смешении языков, ему стало ясно, что воспоминание о Вавилоне и есть единственный возможный Вавилон: подумав о нем, он тем самым вызвал его к жизни. И мысли в его голове, как грузовики со стройматериалом, понеслись в сторону этого Вавилона, делая его все вещественнее и вещественнее.

«Смешение языков называлось вавилонским столпотворением, — думал он. — А что такое вообще «столпотворение»? Похоже на столоверчение...»

Он покачнулся, почувствовав, как земля под ним плавно закружилась. На ногах он удержался только потому, что ось вращения земли проходила точно сквозь его макушку. «Нет, — подумал он, — столоверчение здесь ни при чем. Столпотворение — это столп и творение. Творение столпа, причем не строительство, а именно творение. То есть смешение языка и есть создание башни. Когда происходит смешение языка, возникает вавилонская башня. Или, может быть, не возникает, а просто открывается вход на зиккурат. Ну да, конечно. Вот он, вход».